Окуджава Б

2/V-90

ВЕЧНОЕ И СУЕТНОЕ

Булат ОКУДЖАВА:

...Хочется писать стихи, но их нет, не пишутся... — сетовал в одной из наших прошлых бесед Окуджава. В последние годы, к счастью, он печатает не только прозу — и стихи тоже. В апрельском номере «Юности» тринадцать его стихотворений — светлые, печально-мудрые, высокие строки!

Пожиратели газет, ловцы теле- и радионовостей, а берем ли мы сегодня в руки книги, до стихов ли нам в дни бурного кипения страстей! Но после громогласно бурлящей площади, суетливого говора спешащих улиц неужели нам не хочется безмолвного разговора с собеседником, чье имя — Поэзия!

Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сгорание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагическое после, счастливое сперва...

Все в мире созревает в борениях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о линиях и красках.
Пусть каждый изнывая достигнет своего...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

Господи, какое счастье, что сегодня при общей бешеной озлобленности, чуть ли не оскаленности пишутся стихи про любовь, про чувство собственного достоинства, про хрупкость и стойкость личности, стихи, излучающие само дружелюбие:

Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.

Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы спешат,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и Время разрешат.

— Я считаю, что если человек, которого я ценю за его творчество, за его талант, высказывает чуждые мне мысли — я могу с ним не общаться, даже отвернуться при встрече, но — прав или не прав, такой уж есть — я не стану выяснять отношения, распекать, вступать в никчемный диалог, который превращается чаще всего во взаимные поношения, оскорбления. Думаю, что от злостной непримиримости мы уже достаточно пострадали. Не хочу ее культивировать.

— И поэтому:

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.

— Каждый в какой-то степени, большей или меньшей, — продукт своего времени. Тем более интеллигенты несут ответственность за это время. У меня даже такое ощущение, что во всех бедах, неудачах общества виноват я один. Во всех. Понимаете? И когда сейчас я слышу, как говорят: партия привела нас к катастрофе, я рассуждаю: партия-то партия, но раз я ее член, то мне и нести ответственность, главную ответственность.

Кстати, я сказал: интеллигенты — и подумал, что в этом есть некоторая самонадеянность. Мы долгое время считали интеллигентность чем-то вроде профессии, считали, что достаточно получить диплом, чтобы уже считаться интеллигентом. Недавно один майор по телевидению гордо заявил, что он интеллигент, потому что он... майор.

Псевдоинтеллигентность, псевдокультура захлестнули нас. Крайне низкий уровень культуры в политике, в экономике, в нравственности... Когда-то это насаждалось, потому что так было удобно руководить «трудовой массой», очень удобно. Мы пожинаем плоды возбужденного невежества, о котором Горький писал еще в 1919 году. Перечитайте его «Несвоевременные мысли», публицистику Короленко — они ухватили самое главное: невежество у нас правило бал, да и сейчас все еще правит — планка слишком сильно опустилась.

— Но вы сами написали: «Когда начинается речь, что пропала духовность...», то перед нами встает Андрей Дмитриевич Сахаров, и он определяет высочайший нравственный, интеллектуальный уровень нашего духовного бытия сегодня. Мне кажется, вы очень точно сказали о нем, о подобных ему: «и в душах святая готовность пойти и погибнуть, как новое пламя дрожит...»

— Извечная борьба: один огонь зажигает, другие пламя гасят. Старались задуть свечу Пастернака, сделать незримым, упрятать в Горький праведное пламя сахаровского костра. И главное, руки для всего находились. Кто-нибудь взял бы да составил список людей, которые Сахарова травили, — из деятелей наших великих и невеликих. Чтобы было: фамилия, должность в те годы и сегодня, кто он и что, жив или умер. Не для суда, не для казни — упаси Бог, — а для публикации, чтобы все знали: Н. Н., который сегодня работает, скажем, директором или заместителем какого-то большого института, учреждения и говорит, не покаявшись, высокие слова о перестройке, был прислужником официального режима, участвовал в травле великого человека. Поведенника. Я читаю ваше «ЛГ-Досье» памяти Андрея Дмитриевича и встречаю имена академиков, которые его когда-то клеймили, — вполне приличные, нормальные люди на сегодняшний день. Кроме моральной, нравственной пользы обнародования полного списка хулителей (а среди них есть и глубоко раскаявшиеся в содеянном), будет и чисто практическая польза: кто-то из молодых, прочитав сегодня, поостережется завтра делать нечто подобное.

— Читаю ваши стихи, новые и старые, и в который раз думаю о том, что самое сложное, трудное в жизни — не врать, оставаться самим собой. Скажите, что вам помогало противостоять официальной идеологии, не пойти на сделку с совестью, на постыдный компромисс?

— Не знаю. О себе очень сложно говорить. У меня много слабостей.

— А если не о себе, не о своем опыте — о Фазиле Искандере, скажем?

— А если о Фазиле, то — талант.

— Мы знаем талантливых людей, которые не удержались.

— Значит, недостаточно талантливы. Настоящий талант всегда остается самим собой, независимо от обстоятельств.

— Большинство находилось в полном смысле «у времени в плену», и сейчас — признаемся себе в этом — стыдно вспомнить иные эпизоды, но как же трудно избавляться от этого плена: нет-нет, да соглашаешься, когда соглашаться нельзя, рот держишь на замке, хотя совесть взывает: «не молчи!». Тут не в таланте художественном все-таки закавыка, а в другом таланте — быть всегда и во всем человеком, в том пушкинском самостоянье, которого достигнем ли когда-нибудь — не знаю.

Быть человеком, сохранить чувство собственного достоинства — «загадочный инструмент»,— не это ли заставило наших современников покинуть родину?

— Это чувство — одна из побудительных причин отъезда многих моих друзей, которых буквально выдавливали, как пасту из тюбика, из страны. Это не значит, конечно, что у оставшихся отсутствовало это чувство, но меня, например, пощадила фортуна, а им «предложили» убраться вон. Был недавно в Париже на книжной ярмарке в Гранд Пале, зашел, как обычно, в кафе «Монпарнас», где всегда встречался с Виктором Некрасовым. А его уж нет... Еще один удар по нашей культуре. Утраты, утраты...

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

И чтоб, подивив народившийся крик
и вздрогнув, и высушив слезы,
укрыться от правды хотя бы на миг
и от переделкинской прозы.

Он благоуханием так умащен
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

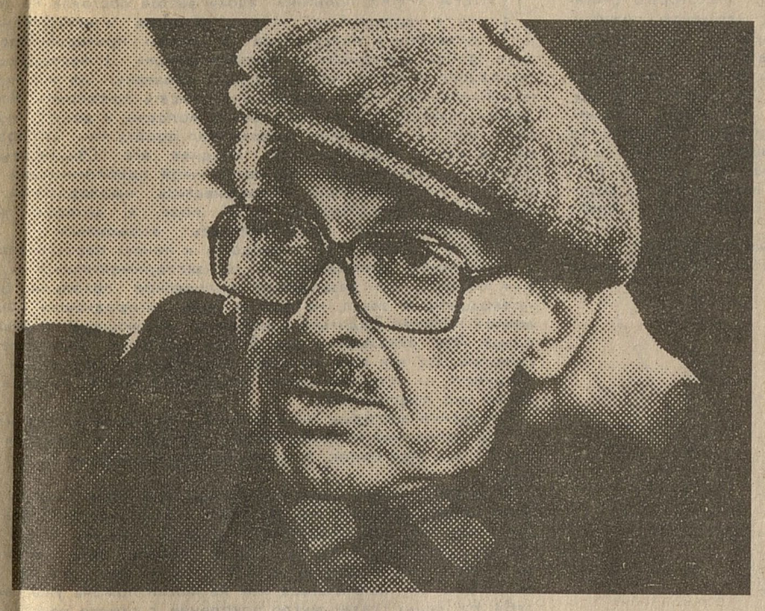
Париж для того, чтоб,
забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.

У меня хранится последний наш с ним снимок, сделанный в этом кафе. Когда мы встречались, садились за столик, Вика давал свой аппарат официанту и просил нас сфотографировать. От каждой встречи оставались такие памятки. Этот снимок получился почему-то синий, и лицо его синее. Вика был такой несчастный от разлуки, от пережитого, и хотя с началом перестройки и вспыхнула робкая надежда увидеть Россию, но она казалась тогда такой призрачной. Снимок окутан какой-то мистикой. Я получил его в Москве утром вместе с письмом от Вики. В тот же час позвонила Уварова, жена Даниэля. Я поехал к ней, мы пили чай, я показывал ей фото, и вдруг раздался звонок из Парижа: Розанова-Синявская сказала, что Некрасов умер...

Лит. газета. — 1990. — 2 мая. — С. 3

ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА, ЛЮБОВЬ И ВОЛШЕБСТВО

Интервью ведет Ирина РИШИНА



Невозможно, конечно, в одночасье переменить нашу политическую и экономическую ситуацию, тем более нельзя изменить мгновенно психологию людей, общества. Но я считаю, что наше государство, уже провозгласившее столько замечательных лозунгов о ценности человека, откровенно заявившее о преступлениях прошлого, должно очень быстро, не теряя ни часа, покаяться перед деятелями культуры, науки, нашими согражданами, так называемыми диссидентами, оплеванными в свое время, но, как мы сегодня убеждаемся, сделавшими очень много для страны. Государство обязано вернуть им гражданство, сказать об их заслугах. Я понимаю, что наши неспешные перемены в системе государственной власти являются серьезным препятствием для этой акции, что ответственные должности еще в обилии в руках тех, кто повинен в изгнании многих, но ведь есть наш новый Верховный Совет. Что же он-то медлит?

— Люди уезжают и сегодня, считая, что мы накануне гражданской войны, накануне катастрофы.

— Мы не накануне катастрофы — мы уже в катастрофе. Мы больны. Делаем себе уколы для того, чтобы прийти в сознание. Это очень сложный период, и он не быстро кончится. Но постепенно, я уверен, здоровые силы, которые имеются в любом обществе, возьмут верх. С детских лет у меня в голове осталась строчка из Чуковского: «Волки от испуга скушали друг друга...» Сегодня я бы переиначил: «Люди от испуга поняли друг друга».

— «Скушали» на «поняли» хорошо, конечно, поменять, но только произойдет ли так в реальности? Когда в стране царствовал Большой Страх, то люди не только не поняли друг друга, но и стали предавать ближнего, усердствовать в доносительстве.

— Значит, был не край. В наше сознание постоянно вдалбливали необычайную возвышенность, неуязвимость, недосягаемость того, что мы совершали. Мы только побеждали. Все, что мы делали — хорошо, все, что сказали — замечательно. В общем, была эйфория — самые-самые, и внезапно все закончилось, мы начали себя немилосердно критиковать, и как результат — шок. Мы должны, ощутив этот удар, пережив его, задуматься о себе самих. Жестоко. Трагично. Но без этого не стать нормальным обществом.

— С детства мы приучены: «Единица — ноль, единица — вздор». Такая хорошо продуманная игра — «крестики-нолики». Или ты ноль, или тебе крест. А ты все же хочешь быть единицей и надеешься, что без тебя (без меня, как говорил Андрей Платонов) народ не полный. На одном литературном вечере в ЦДЛ помнится, из уст известного критика прозвучал упрек по вашему адресу: вот-де Окуджава, пострадавший в годы культа, сводит с временем счеты, не может в своем творчестве подняться над личной обидой. Не верю, когда говорят высокомерно: нельзя мерить жизнь своим личным счастьем, тем более своим личным горем. А почему, собственно, нельзя? Не знаю, испытали ли те, кто так высказывается, удары сталинского кнута на собственной шкуре, но читая в «Юности» ваши стихи, посвященные Л. Карпинскому — «Шестидесятники развенчивать усатого должны...», я еще и еще раз вспоминаю, как в 74-м году мы поехали на Дни литературы в Коми. Я не сразу поняла, почему у вас такой обостренный интерес к печальным северным местам, почему вы так всматривались во все, вслушивались, вчувствовались... В поезде, который шел к Инте, Княжпогосту, вы не отходили от окна, курили, курили... Лишь потом, когда в Воркуте я узнала историю кружки...

— ...да, она много лет переходила из рук в руки... Алюминиевая кружка с нацарапанной фамилией Окуджава принадлежала брату отца Николаю. Вскоре после XX съезда партии я получил письмо от незнакомого человека. Увидев в газете мою фамилию, он решил выяснить, не являюсь ли я родственником Николая Окуджавы, с которым его свела лагерная судьба. От него я и узнал, что Николай оказался в числе трех тысяч заключенных, которые были расстреляны из пулеметов в долине реки Янги-ага. В Воркуте мне подарили старую фотографию: большой деревянный крест... Кто-то устанавливал его на окраине, власти убирали, но вскоре он возникал снова... Была там стихотворная надпись о страшном капитане Кашкетине, занимавшемся истязаниями и расстрелами.

Вы вспомнили поезд, дорогу — она на крови и костях.

— «А по бокам-то всё косточки русские...» — жутко, что некрасовские строки можно отнести и к Беломорканалу, и к этой дороге, и ко многим еще стройкам, которые величали ударными, комсомольскими.

— Как-то я включил телевизор, показывали довоенный фильм «Комсомольск». Молодые энтузиасты начинают строить в тайге город. А до них здесь вкалывали лагерники. Но эта быль не укладывалась в футляр соцреализма. Не знаю, может быть, перед показом было произнесено слово правды — сегодня выпускать такие произведения без комментария просто безнравственно.

— Один из шестидесятников, Эрнст Неизвестный, приехал сейчас в Союз, чтобы взяться за создание в Воркуте мемориала жертвам репрессий. Я читала, что в городе работает специальная комиссия, которая стремится как можно полнее восстановить имена невинно осужденных, как говорится в заметке: число погибших здесь политзаключенных, чьими руками в основном построен город и подходящая к нему Северо-Печорская железная дорога, не поддается точному определению.

— Я знаю о замысле Эрнста Неизвестного, и прекрасно, что мемориал памяти жертв появится наконец. Но вот выражение «невинно» или «безвинно пострадавшие» — его я не могу принять. Потому что многие из них, до конца преданные революции, творили во имя нее Бог знает что, участвовали в красном терроре. Язык не поворачивается произносить слова упрека — да, они жертвы сталинского молоха, да, на их головы обрушилась кровавая расправа. Но и делать из всех только мучеников?.. Тот же Николай Окуджава — он не был замешан в арестах, в гибели людей, но как политработник не противостоял этим беззаконьям в Грузии, потом и сам пострадал. Так же и отец. Когда его уничтожили, мне было двенадцать лет.

Теперь есть памятник, нижнетагильцы прислали его фотографию. А недавно позвонили, поздравили с тем, что в Нижнем Тагиле открыта мемориальная доска на доме, где мы жили. Меня совершенно это не обрадовало. Я много думаю обо всем этом... Было, было, к несчастью, никуда не денешься: честные люди, пришедшие в партию с самыми благими порывами и намерениями, становились невольными пособниками массовых убийств. Если даже не громили, не доносили, то обличали публично, морально уничтожали. Такое чувство, что десятилетия длился чудовищный сеанс повального гипноза.

— Среди читательских откликов на прошлую нашу беседу было письмо, автор которого передавал рассказ бывшего строителя Невраева, он в 30-е годы в Нижнем Тагиле знал вашего отца. По его словам, Окуджаву «рабочие очень любили, так как он был простым, отзывчивым человеком. Условия стройки «Уралвагонзавода» были тяжелыми, и Окуджава проявлял заботу о питании, жилье строителей. В обед, когда из общего котла раздавали нехитрую снедь, он вместе со всеми получал свою порцию и тут же съедал, так как был голоден не менее, чем другие. Заходил в общежития-бараки, иногда ночевал там».

— Так, видимо, и было, потому что мне писал бывший генерал КГБ, который занимался в 56-м году реабилитацией отца, что он беседовал с разными людьми и все подтверждали, что отец был человек простой и ходил по домам рабочих. Такой, знаете ли, хороший большевик из плохого фильма, которых мы вдосталь насмотрелись. Когорта людей, строившая социализм, против которого мы сегодня протестуем, молодые фанатики, они ничего не имели, ничего не хотели для себя лично. Я помню, как мы жили, когда отец занимал пост первого секретаря Нижнетагильского горкома партии. У нас была небольшая квартира, казенная, с казенной мебелью, на которой бирки висели: стол, стулья, кровати — самое необходимое. Помню, что я прибегал с улицы, брал кусок черного хлеба, намазывал его томатной пастой, солил — обед секретарского сына. Но помню и громадное количество раскулаченных, которые умирали с голоду там, на Урале, пока создавались эти необыкновенные социалистические стройки.

— А вы читали «Отлучение» Авдеенко? Там есть портрет вашего отца.

— Прочитал. Обычно мемуары пишутся как бы из сегодняшнего дня, а эти — словно человек и сегодня в том времени находится: поразительное авторское ощущение себя того. Хотя в повести нет ни тюрем, ни допросов, но она страшная по самой сути своей, потому что написана восторженным человеком. Это вот подлинное, совершенно замечательное покаяние. Все сложно. И я не могу, как некоторые мои товарищи, писать с придыханием о своем убитом отце, его братьях. Мне прислали вырезки из газеты «Тагильский рабочий» 37-го года. Идет пленум горкома партии, выступает мой отец и клеймит такого-то. Еще номер — следующий пленум, выступает заместитель моего отца и предает анафеме его. Третий номер — опять пленум, теперь «врагом народа» объявлен тот зам... Это какой-то кошмар!

— Владимир Корнилов в стихотворении «Томский» говорит, собственно, с том же:

...прокурор-каналья,
У вождя ища похвалу,
Файзуллу спускал на Акмаля,
И Акмаля на Файзуллу.

И невиданные клеветы
Соплеменников и друзей
Тиражировали газеты
Для Советской страны для всей.

— Все переплелось, перепуталось. Я как сын люблю своего отца и верю, и знаю, что бесчинств он не творил. Но проживи больше, может, и не уберегся бы, кто знает, на что толкнул бы его «сталинский гений»... Его посадили в 37-м, было сообщение о раскрытии Уральского повстанческого штаба, куда входил весь партактив. Для расследования направили из Москвы работников ЦК, старых коммунистов. Вернувшись, они доложили, что никакого такого центра нет. Тогда выступил Молотов и заявил, что это преступная ошибка, что, конечно же, центр существует. И всех расстреляли... Потом, когда Молотова восстановили в партии, я собрался из нее выйти, но меня стали усиленно отговаривать, и я скис. Вступал в партию я в 56-м, после XX съезда, вступал с открытым сердцем и полной уверенностью: наступили новые времена, будем жить по-другому. Но уже в 59-м я понял, что совершил ошибку. Коммунистом себя не ощущал, и вообще какой я был член партии в общепринятом тогда понимании? Но выйти из нее не мог: со мной бы разделались и семью бы не пощадили.

— Теперь Российская коммунистическая партия создается, и на первом собрании в Ленинграде В. Ярин оказался вместе с Ниной Андреевой, которая не может до сих пор «поступиться принципами»,— странно это как-то... Но таков наш нынешний плюрализм. Есть уже партия кадетов, анархистов, либеральных и христианских демократов — может быть, вы куда-нибудь туда решили вступить?

— Ни для каких партий я уже не гожусь по возрасту. Может быть, социал-демократы — наиболее реальное и натуральное явление. Они, во всяком случае, доказали в мире, что способны на создание нормальной жизни.

— «...Мама меня от беды берегла, Бога просила о том, атеистка...». А с ней вы когда-нибудь говорили на эти темы?

— Мама, как и отец, тоже была непреклонная фанатичка, в партию вступила семнадцатилетней, вся отдавалась партийной работе. Когда вернулась в 47-м из лагеря, то не делилась, не рассказывала о своих муках, не была со мной откровенна. Она меня щадила, жалела, я даже случайно узнал, что ее били. В глазах ее, совершенно отрешенных, как будто застыло сознание собственной вины.

— Эту отрешенность, зажатость, немоту страдания вам удалось с пронзительной горечью передать в рассказе «Девушка моей мечты». Но в чем же вина такого человека и перед кем она виновата?

— Она считала, что передо мной, перед обществом. В том, что очень активно, слепо, бессердечно, во имя будущих торжеств справедливости и добра, как это обычно утверждалось, участвовала в сталинском марше к сияющим вершинам коммунизма. В заключении она многое поняла. Умные люди объяснили ей то, что раньше до нее, видимо, не доходило. Она вернулась не просто подавленная ужасом пережитого за десять лагерных лет. Ее душа была опустошена крушением идеалов, устоев, которые казались незыблемыми. Для фанатика такое крушение безмерно тяжело — мир рухнул.

После ее смерти я обнаружил свои письма, которые посылал в лагерь — она их хранила, отвратительное сплошное вранье — «все замечательно, все хорошо».

— За что же сегодня себя осуждать? Ложь из лучших побуждений, чтобы утешить, не добавлять родной матери сердечных мук. А вы ощущали себя сыном «врагов народа»?

— Самое страшное заключалось в том, что я был очень советский мальчик, все принимал на веру. И надо же, такая несправедливость: именно у меня и отец, и мать, и дяди, и тети — все враги народа... Я не представлял: отец — враг? Мама — враг? Видно, ошибка какая-то, но ее вроде быть не могло, значит, от меня что-то утаили...

— Но потом вы с мамой разговаривали на эти темы?

— Потом, конечно, говорили обо всем.

— К рассказу «Девушка моей мечты» просятся эпиграфом стихи того же Владимира Корнилова (видно, это единый взгляд — взгляд поколения):

Там на всех на углах в усах иконы,
В городах, в деревнях тайги законы,
И молчат в серых ватниках колонны,
Но зато поет Марина Рокк.

Такова, видно, на все времена методология идеологии — зрелище, игрище, затуманивание мозгов: то трофейная лента с Маринкой Рокк, то доморощенные «Кубанские казаки», то развлекательно-завлекательная спецпрограмма в рождественскую или пасхальную ночь — не думай, не сосредоточивайся, не рассуждай. И войну надо было писать только в героическом плане.

— Как-то в «Огоньке» я опубликовал стихотворение «Ироническое обращение к генералу». Я имел в виду трагический парадокс, который существует в нашей армии. С одной стороны, нормальный военный, как и всякий человек, хочет жить и не хочет воевать. С другой же — чтобы совершенствовать свою профессию, ему недостаточно только парадов и маневров. И всегда в большей цене полководец, хлебнувший порохового дыма, нежели невоевавший. Обращаясь в стихах к одному генералу, я говорил ему, что не мешало бы задуматься над этим горьким парадоксом. И вдруг на меня обрушились генералы, обвиняя в том, что я призываю распустить армию. Всерьез спорить с ними? Я ответил, что обожаю всех наших генералов, что все они умницы, все высококультурные и благородные люди, но что среди них есть, к сожалению, один идиот, к которому я и обратился в стихотворении. Видимо, они задумались, потому что с тех пор писем от них я не получаю.

— И в новых стихах ваших есть строки: «Солдат идет с винтовкой, врага он не боится. Но вот какая странность в душе его творится: он пушки ненавидит, и войнам он не рад... Конечно, если это не лапоть, а солдат». Мы с вами беседуем накануне 45-летия Победы и вашего дня рождения — 9 мая, которое с той поры навсегда связано с воспоминаниями о войне. Первая ваша маленькая повесть «Будь здоров, школяр», где вы рассказали о своей фронтовой юности, увидела свет в «Тарусских страницах», которые арестовали, и она долгое время не была известна читателям.

— Между прочим, в будущем году будет 30-летие «Тарусских страниц», и к этой дате мы готовим второй их выпуск. А попал я туда благодаря Борису Балтеру. Дал прочитать ему «Школяра», вовсе не думая о публикации, а он отвез повесть Паустовскому. Пришел через несколько дней и сказал, что Паустовский хочет со мной встретиться. И мы поехали в Тарусу. Когда начался разгром альманаха, больше всего досталось именно мне, потому что повесть, в отличие от военных вещей, которые публиковались тогда, была воспринята как антигероичная, пацифистская. Помню, как Леонид Соболев написал, что эта повесть особенно опасна, потому что она написана талантливо. Он прав, конечно, что все талантливое особенно опасно. Это был для меня большой комплимент.

Воевал не я. Воевал юноша с моими именем и фамилией. Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его сверстников, он был сыном врагов народа, и это его ранило и побуждало идти на фронт, чтобы доказать всем, чтобы все видели, что значит для него его прекрасная, единственная, неповторимая отчизна. Прозорливости ему, конечно, не хватало. Ни знаний, ни житейского опыта у него не было. Его согревали романтические костры тех лет и уже лживые мифы. Пламя этих костров рождало трагических фантастов, безвольных обывателей или жестоких чудовищ. Слава Богу, что я дожил до тех лет, когда смог оглянуться и понять все это, и, восхищаясь победой, гордясь своим маленьким участием, я не переставал надеяться и до сих пор надеюсь, что мы, люди, научимся обходиться без крови, решая свои земные дела. Через несколько лет после окончания войны я написал маленькое стихотворение, которое не включал в свои книги, так как его пацифистский пафос был неприемлем.

Это случится, случится,
этого не миновать:
вскрикнут над городом птицы,
будут оркестры играть.

Станет прозрачнее воздух,
пушек забудется гам,
и пограничное войско
с песней уйдет по домам.

Кровь и военная служба
сгинут на веки во мгле.
Вот уж воистину дружба
будет царить на земле.

Это случится, случится.
В домнах расплавят броню...
Не забывайте учиться
этому нужному дню.

Фото В. БОГДАНОВА

282